

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

**РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ**

143

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

№ 143

TRIMESTRIEL

IV - 1984

ПИСЬМА В. А. КОЖЕВНИКОВА В. В. РОЗАНОВУ

Владимир Александрович Кожевников (1852–1917) – ученый, философ, поэт. Человек обширнейших знаний, в совершенстве владел восемью языками. Автор многочисленных книг и статей, в том числе двухтомного исследования по буддизму (Петроград, 1916). Основной труд, посвященный исследованию "секуляризации" европейской культуры от эпохи Возрождения до XX века, остался в рукописи. Со времен ученья в Московском университете В. А. Кожевников поддерживал близкие отношения с Н. Федоровым, распространял его учение, редактировал его сочинения и издал их на свои средства... Впоследствии приблизился к церковно-православному учению и признавал "неизбежность чудесного элемента в воскресении и невозможность справиться с задачей всемирного воскрешения одними только естественными средствами".

1.

Москва, 14 апр. 1912.

Многоуважаемый Василий Васильевич!

Сердечное спасибо Вам за присланную книгу!* Я особенно рад был получить эту книгу от самого Вас, и вот почему: хотя все Ваши произведения *органически* связаны с человеком, их писавшим, но это – по преимуществу таково; в этом – его смысл, ценность и привлекательность. Автобиографическая мировая литература огромна, но угнетающе лжива: почти всегда – сочиненность, а игра в искренность и простоту только увеличивает претящее впечатление фальши и замаскированного самовознесения... S-te Beuve (критик тонкий) сказал: "крупного человека, известного писателя, художника и т. д. можно узнать, только когда увидишь его в халате, за́просто, дома". А я хотел бы сказать (выражаясь образно, конечно!): "пожалуй, и без халата даже!" – не знаю уж, в каком костюме или без костюма, – но, во всяком случае, – без всяких прикрас, – правдивым перед самим собой, как правдивы (и в этом именно смысле "чисты") дети! Писателю, да еще "известному", это особенно трудно. Вам, может быть, однако, легче, чем другим, потому что Вы, кажется, мало грешны против заповеди: "будь верен самому себе!" Но все же трудно, и

* "Уединенное. Почти на правах рукописи". – Прим. ред.

субъективно, и по существу задачи: не доскажешь, перескажешь, не так, наконец, скажется, как и хотел бы... Ведь тут главное — наивность искренности! А как уберечь ее безупречно, даже и при любви к ней, среди сложной нашей, деланной "культурности"? Но вот, в ваших саморазоблачениях наивность чувствуется, мне, по крайней мере. Думаю, в этом впечатлении едва ли ошибаюсь, потому что "Уединенное" напоминает мне моего старого любимца Монтэня. Если же с основанием напоминает — больше и говорить нечего: значит, — "с подлинным верно!" А это — главное!

Говорю "главное", а не "все", потому что другая сторона в факте все-таки остается, — в факте не саморазоблачения, а в факте воплощения его в книге, отданной во *всеобщее* пользование. На эту сторону взгляды будут, разумеется, очень различны и должны быть различны, смотря по тому, что у судящих перевешивает: ценность ли полноты опознания автора? или ценность влияния книги на читателей, независимо от того, каковы они и сколь умеют читать, то есть сколь умеют видеть в книге то, что *надо* в ней видеть? Могут сказать, и говорят уже, что ради самохарактеристики, и даже ради исповеди, нельзя все же вводить в недоумение или в соблазн неопытных, неумелых, поверхностных по уму и чувству. Кто так судит, тот может думать, что было бы достаточно предназначить такую книгу для *некоторых*, а не для всех. Но я лично и этого в данном случае не могу сказать, потому что ведь и это — отдача своего "Я", во всей непосредственности, *всем* на свободное восприятие, кто как сумеет и сможет (а это уже — и суд добровольный над собою!), — это есть тоже ведь черта искренности, а с точки зрения признающего полноту прав личности — даже черта завершающая: без этой смелости (пожалуй, — цинизма, дерзости, что ли?) нет *полной* правды для *такого* человека, для *такого* порыва. Зло, вред отсюда могут быть; но не от полноты саморазоблачения, а от того, что есть в "сокровищнице сердца", откуда человек выносит "ветхое и новое". Где грех — там и соблазн, может быть, — даже и в процессе самого покаяния... А каяться нам грешным все-таки надо, тайно ли, явно ли! Но если уж исповедовать себя не только "Господеви", но и людям (ибо и они ведь — Божьи!), то, конечно, так, как ставший христианином язычник Августин или как оставшийся язычником католик Монтэнь, а не как напудренный жеманный Руссо, ни даже как любующийся собою олимпиец Гете, у которого в "Wahrheit und Dichtung" сама Wahrheit превращается в Dichtung.

Вот сколько наговорил, и как-то без страха за бестактность или надоедливость, несмотря на столь недавнее личное с Вами знакомство. Если тут лишнее что есть — не взыщите, пожалуйста!

После сказанного странно посылать мне Вам свою книжку, совсем иного характера по теме и выполнению, Вам, заваленному со всех сторон книгами. Однако все-таки посылаю! Как-никак, а это тоже часть меня, несмотря на всю объективность содержания. Удачна ли, плоха ли работа, все же у меня, как вкладывавшего в нее свое желание и силы, она, в этом смысле, взяла в себя нечто ценное для меня, и потому, за неимением иного, посылаю ее Вам.

Будьте здоровы духом, и телом, для счастья жизни и для труда жизни!

Владимир Кожевников.

Адрес до 28 апреля: Москва. Калошин пер., д. 6;
после 28 апреля: Ялта. Исар, В. Кожевникову, своя дача.

2.

Москва, 30 окт. 1913.

Глубокоуважаемый и дорогой Василий Васильевич!

Сердечное спасибо Вам за память обо мне, выразившуюся в присланной мне через П. А. Флоренского книге,* которую я получил около 10-го октября, вскоре после возвращения из Крыма. Должно было бы немедленно поблагодарить Вас, но хотелось сначала ознакомиться с книгой, хотя бы сколько-нибудь, отчасти. Но она оказалась такою втягивающей в себя, что к ней применимо то, что Вы говорите о некоторых книгах, которые снимешь с полки да и зачитаешься тут же, не сходя с места. Вот и я зачитался ею, и потому только сейчас шлю Вам свое сердечное спасибо, именно "сердечное", потому что, помимо ума, сверкающего на этих страницах, они и *сердечно* писаны, а потому и идут от сердца к сердцу, как что-то родное, теплое... Для меня к тому же тут есть и особый повод к благодарности, вот какой: Страхова я в былые годы читал, но — по тогдашнему своему настроению — читал поверхностно, под кривым углом зрения. Потом понял, что мало оценил его, хотел бы перечитать, но, за всякими другими делами и делишками, так и не собрался перечитать, и осталось это одним из бесчисленных пробелов моих в области того, что должно бы быть прочитано *как следует*, вместо огромной кучи иного, ненужного

* "Литературные изгнанники", т. 1. С портретом Н. Н. Страхова. СПб, 1913, 532 стр.

или маловажного. И вот присылка Вами этой книги до некоторой степени, — в значительной даже мере, — восполняет этот пробел. В Вашем издании, в этих воспоминаниях, заметках, в сжатых, но ярких набросках окружающей среды, людей, сюда относящихся, воскрешает и непонятый мыслитель, и человек, которого не знавшему его близко понять не так-то легко. Отмечая заслуги, крупный вклад на очаге нашего общественного сознания — столь тусклом, чахлом, или угарном!

Прямо с наслаждением поглощаем Ваши примечания!.. Я потому и люблю историю, что она — правильно поставленная — есть сила воскрешающая. Ну, а критика, как она в большинстве случаев поставлена, есть сила казнящая, растлевающая, убивающая. Но не этим она должна быть! И она должна быть силою воскрешающею: не "разносить", а оживлять, животворить — ее задача. Но верной этому высокому призванию она может быть только при сродственном отношении к объекту своего наблюдения и расследования, воспринять органически, еще более чувством, сердцем, "нутром", чем умом и рефлексией — вот что нужно, и вот чего почти никогда нет у обычных критиков, которые все пытаются *свое* преподнести, "das liebe Ich" прорекламирровать, а не другого понять как родного, как "своего", вследствие чего они и не понимают почти ничего. От этой "критики", в которой русские писатели или писаки более грешны, чем западные (напр., английские) просто отдыхаешь на Ваших критических взмахах и взлетах. Другую душу Вы чутьем каким-то постигаете, и выходит душа всем уже не "чужая", а "своя", родная, да еще русская. А если "своя, родная", — душа уже "не потемки", потому что только "чужая душа — потемки". Положим, и о себе Вы тут везде много говорите, но "попросту", по-сердечному, и потому в *большинстве случаев* — безвредно и безгрешно, без некоторой же доли греха в *свою пользу* пишущему не обойтись!..

А потом — порадовала меня книга бодростью и свежестью ума, или остроумия что ли, esprit, в хорошем смысле этого не совсем определенного французского выражения. Одно французское остроумие — нарядно, изящно, но легковесно; вот в сочетании с русской вдумчивостью, но высказанное с афористическим изяществом и меткостью — это привлекательно! и редко встречается! Спрос на такое изложение при теперешних условиях чтения (преимущественно журнального и газетного) больше, чем когда-либо; трудность удовлетворения этой потребности *должным образом* (не рыночным, дешевеньким и пошлым) — огромная: сказать многое в малом, живо, образно, влиятельно, то есть — правдиво, искренне! Трудно

в особенности потому, что поводы тут почти всегда — "злободневные", следовательно окрашенные и преходящие увлечениями, и пристрастием кучки, партии, личности, и суетностью крутящегося вихря "современности" и "новизны", не дающего передышки, чтобы опомниться, разобраться, вдуматься и связать вспышку мимолетного настроения с беспредельностью прошлого, с чаяниями грядущего. Но если, оставаясь животрепещуще отзывчивым к запросам настоящего, удастся в эфемерных, летучих чертах настоящего отразить черты остающегося, вечного, красоты и правды "не от мига сего", но от "пребывающего в век", — тогда свершено *великое*, хотя и в малом по объему. Вот этот редкий дар Вам дан Богом. Будьте ему верны в сознании ответственности за таинство [?] ... Пишу это под впечатлением особенно одной из Ваших статей (11 сент. в Нов. Вр. по поводу юбилея Русск. Вед.). Я читал ее и увлекался, словно юноша пылкий; читал много раз "правым" и "левым", и любо было мне видеть, как сила слова заставляла краснеть и бледнеть, вызывала то краску стыда, то негодование праведного гнева. Вот за что спасибо, — уже не от себя лично, а [от одного] лица, чувствующего разложение России неисправимою, безнадежною интеллигентщиной известного типа! Скажите: собираете ли Ваши статьи для сборника, — не сейчас, — со временем? или, как мотоватый богач, сорите ими беспечно? ... Надо бы собрать и *отобрать*, ибо, конечно, не все — равноценно, и это, разумеется, — не в покор говорится: иначе и быть не может, при многом и быстром писаньи! В покор могла бы быть только небрежность (которая, пожалуй, иногда и бывает?) в отношении к почве для сева. Всяк мыслитель-писатель — сеятель, Вы рассеиваете зерновки, летучки (есть такие ботанические термины) широким, молодецким, степным русским взмахом. Мало ли куда залетит зерно, куда западет? всход и урожай в Божьих руках! Но и для руки сеятеля, особенно опытного, бывалого, есть обязанность — не метать зерна не просеянного, не отборного, когда можно провеять и отобрать, ибо — западет на трясинную, гнилую почву зерно больное, тощее, — и почвы не "справит", и росток даст искаженный, искалеченный. Пошло-вато это звучит — чувствую! а все-таки — так! Простите, дорогой Василий Васильевич! Чем ближе, чем дороже сердцу человек, тем большего от него хочется; а за данное Вами всем нам, и в частности мне, как за доброе отношение ко мне — опять горячее спасибо! Дай Вам Бог и близким Вашим доброго здоровья и мира душевного! Преданный и благодарный Вам

В. Кожевников.

Москва, Калошин, 6.

3.

Москва, 28 ноября 1914.

Глубокоуважаемый, дорогой Василий Васильевич!

Сердечное, горячее спасибо Вам за Вашу чудесную книгу!* Получил я ее перед отъездом в Тамбов; в вагоне раскрыл книгу и не мог оторваться от нее, пока не дочитал до конца. Какая драгоценность! с Божьим вдохновением создавалась и осилилась она! И тем особенно ценна она, что вся-то она, по мыслям и в особенности по чувствам, читающему (русскому, конечно, православному, конечно!) уже знакомая, *своя, родная*: ничего в ней *выдуманного, "сочиненного"* нету! Ее не "писатель" "сочинил", а душа великого народа творчески создала, в жизнь воплотила, переживала, выстрадала и вымолила. Оттого в ней все — *родное, русское и общее* (не индивидуальное), православное, соборное, то есть братское. То, что каждая отдельная душа, если она душа русская, чувствует, — вот это Вы высказали за всех нас, да так то просто, хорошо, "славно", смиренно и спокойно, а потому и убедительно и величаво! И вышло нечто не субъективное, а эпическое, настоящего народного духа воплощение. Дыхание русской истории, дыхание судьбы многострадальной, но и святой Руси веет в каждой странице, особенно в бесподобной статье "Русс. церковное воспитание". Вчера у нас в "Кружке" была беседа; Серг. Никол. Дурьин,* * милый, умный и чистый своею *русскою* душой, молодой, но уже достаточно известный лектор делился своими впечатлениями о северных русских храмах и иконах. Хорошо было... с "подлинным" русским духом верно, и притом юношески горячо и искренно, а кончил он чтением Вашей статьи "Русс. церковное воспитание"; и все присутствовавшие и внимавшие были зачарованы и приведены в умиление. Создался момент (не боюсь сказать) *литургически-благоговейный*. И если такие настроения даются чтением Ваших этих страниц, значит, в них воплотился воистину благодатный сев "бесценного бисера — Христа", озарявший и, слава Богу, еще живящий и поднесь русскую душу. Вы уловили Его сияние и передали на пользу

* Вероятно, "Война 1914 года и русское возрождение", Петроград, 1914—1915, 234 стр.

** Дурьин Сергей Николаевич (1877—1959), в 1918 г., под воздействием о. Алексея Мечева, стал священником, в начале 20-х годов, в ссылке, снял с себя сан. Вернувшись к литературной деятельности, посвятил себя истории русской литературы, театра и искусства. (Лучшие его исследования: "Гете в России", "Гоголь и Аксаков", "М. Н. Нестеров").

многим. Дай Вам Бог за это здоровья и сил для дальнейшего сева "пшеницы Господней". Сейте только по древне-русски, не превозносьтесь, в смирении и кротости. Спасибо и еще раз спасибо!

Благодарный Вам и любящий Вас

Влад. Кожевников.

4.

Москва, 10 ноября 1915.

Глубокоуважаемый и дорогой Василий Васильевич!

Сердечное спасибо Вам за то, что вспомнили обо мне и прислали "2-й Короб "Опавших листьев"! ... Вдали от Москвы не знал о выходе книги; но когда увидел ее здесь кое у кого (а у меня нет!) — стало завидно. Подождал немножко, купил, прочел... А потом и присланный Вами экземпляр пришел, и только тут показалось мне, что я подлинную книгу увидел — подлинную потому, что на ней заветной зеленой чертою виднелся Ваш почерк, и живее, полнее стала вся она.

Ведь тут — опять — совсем интимная, задушевная вещь, такая, которую в полноте животрепещущей хочется, да и надо бы, не читать равнодушненько расставленные печатные [неразб.] строчки, а слышать в живой речи, прямо из сердца горячо вырывавшиеся отзвуки и чувства и думы. К печатной же такой книге непременно (по этому самому) будешь не совсем прав в суждении, не совсем правилен в ее восприятии. Раз напечатано — заобъективировалось... подпало под общие правила и вкусы (хотя бы до некоторой степени); а на самом-то деле тут все — субъективно, ибо вскрытие уголков не автора просто, а живого человека, каков он есть, по вкусу ли или не по вкусу другим, но — подлинного, неподделанного В.В. Р-ва.

Так и смотрю на этот "Короб", так и стараюсь эти "Опавшие листья" воссоединить с корнями, их родившими, с вершиною, где колыхал их капризный ветер жизни, пока они не облетели. Название — вещь серьезная, ответственная, пожалуй, — главное в книге, сгущенная суть и дух содержания. Здесь, думается, название органично с содержанием: не кошница весенних, ни даже летних цветов, а "короб" опавших листьев. Не та красота, что у вешних цветов; а все же — какая бывает и осенняя красота! У нас в саду была старая груша; ни у одного дерева по осени не бывает такого разнообразия в раскраске листьев: все тут есть: от блеска золота и пламени румянца до пепла придорожной пыли, до грязи смиренного русского чернозема... Не

равна, конечно, красота каждого листика, но сколько прекрасных, да и вместе, рядом-то поставленные контрасты трогают за душу: то пышное, то гордо нарядное, а то унылое или умильное в этой смеси опавших листьев, которые, бывало, соберешь и которыми любишься. Да и могут ли быть красивы все опавшие листья? Одни сорвались во всей неприкосновенной прелести позднего осеннего, ласкового солнечного луча, а другие овеяны пылью жизненной суеты, втоптаны в грязь грубою ногою прохожего, равнодушного, безучастного. Но для матери-то их, для той, что раскрыла их, ведь все они, какие ни есть, а — свои, родные, все связаны с душою; в каждом, хотя бы и запыленном и загрязненном, осталась частичка души, их растившей и ласкавшей... Ну, ведь этого-то нога прохожего (да и голова блудного сына — читателя) не видит, не понимает. *Inde irae*, а то, пожалуй, либо — бессовестно-цензорское, или же ироническое отношение, как часто приходится замечать кое у кого по поводу Ваших, как они говорят, "неровностей" и "сдвигов" не туда, куда "принято"...

Ну, об этом — довольно! а вот два слова по поводу сомнения, высказанного на стр. 282-й: "сказали ли они (Новоселов,* Кожевников, Щербов...) хоть одно слово, одну строку, одну страницу на мои мучительные темы, на меня мучающие темы? Неужели же... им нужны были строки мои, а не нужна душа моя?.." Если Вы верите, дорогой В. В., в прямоту и правдивость выше писанного в этом письме, так ясно должно быть, что именно не печатные Ваши строки здесь нужны и ценны, а как раз "душа", потому что (повторяюсь) *эти* строки тем и ценны, что они — отзвучие души, и не ценя души, их родившей, их не оценишь, а только исказишь. Отчего же, однако, молчали, молчат? [неразб.] разве все [неразб.] ? [неразб.] я, по крайней мере, [неразб.] сколько-нибудь высказался: это ум глубокий, душа емкая и большими дарами полная, ему и на труднейшие темы свое сказать не трудно. Другим — другое дело! Ивана Павловича люблю, но мало его знаю, оставляю в данном случае в сторону. Новоселов... Этот прямолинеен и непоколебим, весь на пути святоотеческом, и смолисто-ароматных цветов любезной пустыни и фимиама "дыма кадильного" ни на какие пышные орхидеи, ни на какие пленительные благовония царства грез не променяет; а вне "царского", святоотеческого пути для него все остальные сферы — царство грез, и их горизонты, глубина и прелести только "прелесть" (в аскетическом смысле)! Ну как такому радикалу высказаться насчет главной, "мучающей" Вас темы проблемы пола?

* Новоселов Михаил Александрович (1860–1940), бывший толстовец, затем православный публицист и издатель. Долгие годы находился в заключении, умер в ссылке.

Уж слишком точки отправления различны, да и цели разные! В этой области не срастетесь друг с другом, хорошо еще, если поймете друг друга! Высказаться при таком расхождении в принципе значило бы отрицать друг друга, если [неразб.] умахать, а это — жалко делать, потому именно, что, несмотря на разлад в этом, в общем-то "душа", однако, "дорога", а умахать (= разрушать) того, кто дорог, — не по-дружески и не по-христиански. Ну, вот и молчит... на эту тему, а иное, многое, приемлет и хвалит, и радуется, что есть столько приемлемого и на пользу направленного. Вот и из 2-ого "Короба" указывает мне столькое, прямо с детскою, чистою радостью. Ну а об себе скажу, что молчу потому, что мне сама тема не по силам (проблема пола). Не по силам потому, что, как раз в противоположность Михаилу Александровичу, прямолинейному и однородному в своем деле, я, злополучный, и сложен, и крив, не в нравственном смысле крив, а в смысле кривых и путающихся дорожек, по которым бреду вместо прямого пути, все отыскивая его, или, если и вижу его, то в нем отыскиваю то, чего М. А-чу не нужно, но что мне нужно. Вот вам печальная участь того, для кого не "единое на потребу" отрицаю, или в нем сомневаюсь, а то, что в нем ищу полноты такой, какая, с точки зрения "царского" пути, не нужна, а именно (чтобы сказать в одном слове!) ищу примирения, а не противоположения земного с небесным, ну, значит и оправдания, *raison d'être* и природы, и красоты, и любви, и чувства, и даже чувственности, когда она — не самодовлеющая похоть, а естественный порыв любви... Как же тут высказаться? за что высказаться? *За одно, отрицанием другого* (в ту или иную сторону)? Нельзя! не могу! лживо будет! *За то и за другое зараз* опять не могу, опять лживо будет, ибо не вижу, как соединить, как примирить несомненно враждующее одно против другого, телесное и духовное! *Уравняв одно с другим?* Невозможно, очевидная нелепость! Минутное и брэнное уравнять с вечным, бессмертным? Нонсенс! А чуть первенство определено, чуть предположение отдано, — где остановиться в подчинении одного другому, в умалении, в разрушении и мира и красоты, и чувства? Знаю (не по себе, а по праведникам, по святым) *есть* оправдание многого (но нет — все же — не всего!), и оно-то, оправдание, заключается в "обожении" плоти и мира, но до этого поднимаются лишь святые, те, что сначала "презрели мир" и "сущее в мире", а уж потом, познавши сверхмирное, зачерпнувши из его источника "воды живой, текущей в жизнь вечную", узрели снова и мир, и плоть преображенными, очищенными, освященными, "обоженными", и, ставши сначала "друзьями Богу", стали потом друзьями и творению Его. Но мне-то, подлинно-земному, грубо чувственному, грязно

грешному, мне-то как прозреть эту чистоту, эту красоту, это преображение твари в отблеске (?) творца, "Свет истинный" среди отовсюду обступающих, меня "блудящих" огней"? А если дело обстоит так с самим собою (да еще в 63 года!), то как же вскрывать раны другого, судить его язык или хотя бы даже целить его боли с надеждою на пользу, на успех?.. Ну вот и молчишь, и опять-таки не потому, чтобы "душа была не дорога", а именно потому, что она "дорога"! Дай только волю слову обсуждения ("критики"), "отверзи (только) уста", и они "наполнятся" не "духа" целящего, а тлетворного, ибо сам судящий-то духовно не здоров, а между тем обсуждение, суждение тотчас же перейдет и в осуждение! Вот и по отношению к данному случаю: позволю я себе вольность суждения, забывши свои свойства в соответственной области, — осудил бы кое-что в "Коробе", количественно даже, пожалуй, многое бы осудил. Но как вспомнишь клич заурядных даже людей, грешных: "Врачу, исцелися сам!" и клич святого: "Кто ты, чтобы судить брата своего? не перед своим ли Господом стоит он, и не силен ли Господь восставить его?" — как вспомнишь это, так и смолчишь. Падающему права не дано осуждать спотыкающегося; да и по мукам своей души знаешь, сколь многое в таких падениях непроизвольно, не умышленно, как часто провал, и глубокий даже, является исходом томлений и поисков благонамеренных, устремлений не вниз, а "горе"! И вот, уважая достоинство души, ищущей правды, не решишься подходить к ней с упреком или нападением, которые, при сравнении со своими собственными изъятиями и немощами, должны показаться только словами или отвлеченными, мертвыми умозрениями, а не глаголами жизненными, правдою абсолютного, вселенского, Божьего. Правда вселенская же только — в Церкви вселенской. Значит, и блуждающим по распутьям и по трясинам, при мареве дневном ли, при сумеречных ли шальных огоньках, — только один надежный маяк — Церковь. Вот к ней и иду, во всем своем убожестве разлада и противоречий! И только она одна и может принять и таких уродов или калек (с научной, философской, эстетической и гуманистической точек зрения). Она пример, потому что она — мать жалостливая и долготерпеливая, — было бы только у приходящего к ней смирение, да любовь, "покрывающая множество прегрешений", да упование на Того, Кто "велий сердца нашего, и весть вся", знает, следовательно, как сказано в передпричастной молитве, что "не только немощен есмь аз, но и Твое есть создание".

Ну, простите, дорогой Василий Васильевич! Боюсь, не хватит терпения прочесть написанного? Знаю, что длинно и нескладно, но... "с подлинным верно", то есть с тем, что на душе есть, и по отношению

к себе самому, и по отношению к Вашей, *дорогой* мне душе. Будьте здоровы и счастливы! Без скорбей не прожить, но в скорбях да светит заря упования, разливающаяся от "Света тихого", от "Начальника тишины". Передайте мой привет и пожелания благополучия [неразб.].

Преданный Вам

В. Кожевников.

Калошин, 6.

5.

Москва, 21 окт. 1916.

Дорогой, глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Почти до слез был тронут Вашим письмом: такое оно сердечное, задушевное, искреннее! Вот как надо говорить в минуты испытаний со скорбящими: *от сердца к сердцу*! Христианство отлично поняло это, когда сказало, что подобает не только сорадоваться с радующимися, но и плакать с плачущим. И какое грубейшее непонимание Христа являют куцые умом рационалисты, когда, по поводу дивного стиха в Еванг. Иоанна (о воскрешении Лазаря) "Христос прослезился", упрекают Христа в сентиментальности и малодушии, тогда как даже еврей-простецы, бывшие при этом, поняли все правильно, сказавши: "Как Он любил его!" — Ну, вот, за эту-то сердечность отношения ко мне в жуткую минуту моей жизни горячее Вам, дорогой мой, спасибо! Да благословит Вас Сострадающий немощам человеческим, Понимающий слабость нашу и Снисходящий к ней. В этом ведь и вся глубочайшая тайна высшего общения: Его *снисхождение* к нам; наше к Нему *восхождение*! "Твой есмь аз, — спаси мя!" Твой — со всеми моими слабостями, падениями, несовершенством... и все-таки — Твой! ибо "руцы Твои создаста мя", и в Божественном всепредвидении предусмотрена возможность и слабости, и падений, и все-таки такими, способными даже и пасть, но способными и восстать, по благодати Божией, создал нас Отец наш.

А минуты были воистину жуткие! Мне хочется кратко поделиться с Вами, какою благодатью удостоил меня Господь в эти минуты. Это я буду говорить тоже *от сердца к сердцу* и не для оглашения кому-либо, *пока жив*. Как только прочел я это ученое, рентгеновское определение, приложенное к снимку: "Cancer ventriculi (inoperabilis)" — мало того, что рак, но уже и не поддающийся противодействию, — так тотчас же возгласил, по правилу Златоуста: "Слава Богу о всем!" — и

потянуло меня в храм, помолиться; но церкви были уже заперты; пошел в часовню преп. Сергия и отдался волне теплого, благостного охватившего меня чувства. Я ждал (ибо ждал-таки такого приговора), что, при вести о катастрофе, ощущу точно провал какой-то вокруг себя: померкнет и небо, и все побледнеет и обесцветится. *Так именно* я чувствовал себя в 22 года, когда мне, не неверующему тогда, но равнодушному, мертвенному к вере, пришлось узнать, что у меня саркома на челюсти... а Бог тогда явил чудо явное: ее вырезали и рецидива не было, — случай, по мнению врачей, почти небывалый. Ждал такого же настроения и теперь... и вдруг... как раз обратное: свет, мир, подъем, благодать! Солнце так славно пригревало на осенней лазури (день был с "утренничком"), золотая осень на сквере у Ильинских ворот сверкала такой пышностью, таким рдением красок, и все кругом, люди прежде всего, стали лучше, милее... Вспомнились детки мои — будущие мои скоро сироты; и что же? и над ними вижу, чувствую свет и мир, и вместо заботы, беспокойства о судьбе их, — какая-то тихая уверенность в Божьем Промысле, в Христовой охране и попечении... Ну прямо — чудо на душе! Пошел домой, сказал правду своим: жене, матери (мачехе), а вечером — к врачу. Тот отрицает рак; к хирургу — тоже "не нащупывает"... А изображение на снимке, явственное, огромное? — Кто его знает, что оно такое?... Вот положение дел, пока, с врачебной точки зрения. А я остаюсь при своей, [неразб.]: Бог знает, что тут и чего ради. Ему вверяюсь, и, несмотря на обнадеживание врачей, веду себя все-таки так, как будто бы "близко! при дверях!" Написал духовную, поделал кое-какие дела, чтобы не опоздать, готовлю и место "упокоения"... А на душе, как сначала, — хорошо, так особенно хорошо, что от сопоставления со смертью жизнь и люди не похужели, а улучшили, не обесценились, а возросли в цене. Какая-то снисходительность явилась: бывало, — вот какая нравственная требовательность от них, вот какой ригоризм! А теперь — хороши каковы есть, ибо, рядом с плохим, всюду все же что-нибудь хорошее да есть, а оно, хорошее-то, доброе, остаток отсвета Божьего-то, оно столь ценно, что, любясь им, не до плохого, безобразного! А по отношению к себе — вот что *очень, очень важное!* Никогда не был неверующим (равнодушным только раньше был), так, из-за христианских добродетелей Вера стояла твердо, близко душе. Любовь... ну, кто же станет отрицать ее важность, ее близость к жизни? Конечно, и Любовь была всегда впереди, как повелительный и вместе влекущий Абсолют. Но вот третье-то звено в венке красоты христианской, Надежда, — вот она-то как-то всегда отставала от двух первых, светила бледнее, звучала откуда-то

подальше, чем они. А когда переживались жуткие и грозные минуты сознания своего недостойнства, греховности, гнусности... когда воистину чувствовалось, что, хотя и *верю* крепко в Царство Отчее, но "одежды не имам да вниду в него"... — вот тогда чувствовалась слабость Надежды, Надежды на Отчее милосердие, снисхождение и прощение. И уныло, беспросветно становилось на душе... И заметил я ту же черту и во многих из нас, "мудрых ученых" и... слабых душою. Подтвердили мне и они то же ощущение. А между тем, кругом, в народе, в простецах, давно, раньше, когда сближался с ними, да и теперь тоже, при случайных встречах, — как раз обратное наблюдение: страшная сила *именно Надежды*, Надежды на Его благодать и всепрощение по Его благодати, несмотря на очень стыдное, иногда жгучее признание своей греховности и грубо-чувственной, если хотите, веры и в Суд, и в гнев, и в муки вечные, да какие муки, настоящие [неразб.], по лубочным вдохновениям. Отчего это, как это получается? У нас в приходе старичок был, лет 80, слепой издавна. Друг его, староста в этой же церкви, богач, целый Пассаж "держит" в аренде, по 4 раза в Париж за товаром ездит, хотя душой тоже весь в церкви и мечтает постричься на Афон. А отец-слепой, бедно одетый, стоит у входной двери все службы церковные, мытарь-мытарем. А пришел день кончины, помирает светлый такой, и ему, слепцу, явны все ослепительные дали благодатного царствия Божиего. Спрашивает старуха-жена: "Федя, а все-таки, небось, помирать-то жутко, скажи-ка-сь?" А он ей: "Что ты, что ты, глупенькая! Это со Христом-то да жутко, к Нему-то да страшно? а где же милость-то Его? Молчи, не грехи! ничуточки не жутко!" — Вот она — Надежда чистого сердца, столь мало нам, мудреным, свойственная! И вот, дорогой В. В., то благодатное сияние озарило меня как раз в тот миг, когда я сломал печать на чужом пакете (врача к врачу), чтобы узнать правду и прочел: "Cancer ventriculi (inoperabilis)". Тут воссияла надежда не на исцеление, а надежда на смерть спокойную, надежда на любвеобильный прием Отцом, даже блудного сына, меня грешника! Вот и светит она с тех пор, эта заря *новой психологии, превосходящая всякий ум земной*, и бодрит, и радуется. Не доверяю утешениям врачей земных и скорее жду подтверждения приговора смертного... и все же [неразб.] мир и покой. Господи, если бы только продержаться на этом уровне. Придут, может быть, боли физические, муки... не выдержать их без стога, без малодушия... Вот тогда, если будет это, да поддержит Он же, Сам страдавший! Но пока и ныне, и впредь — слава Богу о всем! Написал я Вам все это, дорогой Василий Васильевич, все "от сердца к сердцу", на "чистоту", не думая, хорошо ли вскрывать *такие*

интимности души, не думал, как и Вы все это примете. Ничего этого и в голову не приходит, даже поправлять описок письма не хочется! Все же примите эти признания как ответ на Ваше задушевное выражение сострадания, прочтите и либо сожгите, либо спрячьте куда-нибудь подальше, посокровеннее, памятуя слово: "Intima — sacra!"

Спасибо Вам за книгу,* прочел ее залпом, иначе и не годится: ибо и писана она с аффектом (в благородном смысле). Рад, что Старец-Восток манит и научает Вас. Как они — древние — были серьезны, вдумчивы, сравнительно с современным порхателем по поверхности! Много в такой старой мудрости тайн, и в толковании их не трудно промахнуться; но что ошибки?! схватить бы луч истины и правды, да преломиться ей дать, как одной истине и правде, в миге и нашей жизни! Не буду пускаться в детальное рассмотрение Ваших мыслей и чувств, разлитых на этих страницах. *Общий* пафос хорошего свойства, и, как по большей части бывает у Вас, там и сям ростки, блески мыслей, из коих могут взрастать цветы благоуханные. Пусть растут только они одни, без цветов дурманящих!

Еще раз спасибо! (да! и Татьяне Вас-не спасибо за труд доставления лекарства). Храни Бог Вас и Ваших.

Преданный Вам

В. Кожевников.

* "Из восточных мотивов". Вып. I—III. Петроград, Сириус 1916—1918, 96 стр. с иллюстр.